

# ЗИНАИДА ГИППИУС

НА ОСТРИЕ

# **Зинаида Николаевна Гиппиус**

## **На острие**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=25910555](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25910555)*

### **Аннотация**

«Л. Андреев с его «Человеком» завел меня в широкие общие рассуждения. Вернемся от литературы к литературе, к другому современному беллетристу Сергееву-Ценскому...»

# Зинаида Гиппиус

## На острие

Л. Андреев с его «Человеком» завел меня в широкие общие рассуждения. Вернемся от литературы к литературе, к другому современному беллетристу Сергееву-Ценскому.

Он моложе Андреева – он еще не дошел до порабощения своего таланта мертвому духу лжесреды, он еще свободен, он еще пока – художник. Но, конечно, и Сергеев-Ценский – писатель современный, стилем своим и всем уклоном приближающийся к другим писателям дней именно наших. Он – офицер того же полка, где был генералом Андреев, где Зайцев – унтер с нашивкой и где есть такие несчастные рядовые, старательные и самодовольные, но совершенно неспособные, как Осип Дымов и другие. Сергеев-Ценский – настоящий офицер; Зайцеву, сколько бы он ни получал нашивок, до него не дослужиться. Язык Сергеева-Ценского – богат почти без риторики, выпукло-ярок до грубости, которая не переходит, однако, в антихудожественность; главное же – он чрезвычайно гармонирует с внутренним содержанием таланта Сергеева-Ценского, с основной, резко определенной, вечно одной и той же мыслью автора. Она не утомляет, потому что широка; ее можно бы назвать идеей, – если бы она, в конце концов, по свойству своему, могла привести куда-нибудь, кроме тупика. Но она ведет именно в тупик... если,

конечно, взять ее как последнюю в ее победе; принять ее за последний синтез.

Мысль эта со всей определенностью уже выразилась чуть ли не в первом рассказе Ценского, напечатанном года четыре тому назад в журнале «Новый путь». Рассказ вошел и в «Сборник». Рассказ – не из лучших; язык еще не вполне выработан, но уже весь Ценский тут. Уже мчится, бессмысленно хлеща лошадей, невинный человек, помещик, любящий отец и муж, мчится прямо в снежную, черную сильную бурю, дико повторяя: «Все у меня умерли! Все с ума сошли!» Недаром только что бедный уральский родственник-прихлебатель тупо ныл перед ним: «Где не ждешь, тут тебя и кокнет. Непременно тебя кокнет».

Все умерли, все с ума сошли, все погибли самым безобразным, бессмысленным, грязным и отвратительным образом, и... что ж это такое? Ведь я же этого не хочу? Вот в этом, тайном, но несомненном вопросе Сергеева-Ценского – еще надежда на спасение от тупика. Есть борьба, есть трагедия, – писатель-человек еще не успокоился на разрешении ужаса жизни – просто неподвижным утверждением ужаса. Ценский, ненавидя мир, – любит его; любит так же глубоко, как ненавидит. И даже, – я утверждаю, – он идет из любви, как из первого данного. Не люби он мира, он, может быть, и не увидел бы так ярко всех его ужасов, не сумел бы так ненавидеть. «Мир ужасен, проклят, бессмыслен, главное – бессмыслен...» – кричит нам Ценский и тут же, словно про

себя, шепчет: «А я этого не хочу!..» Вся трагедия этого писателя, отнюдь не первоклассного, но яркого и характерного для времен наших, вот в чем: он, по завету Достоевского, полюбил жизнь прежде смысла ее. Но не заведомо же бессмысленную жизнь начинаем мы любить: мы начинаем любить жизнь только прежде знания ее смысла, но уже в любви нашей – вера, что смысл есть, что через любовь он откроется. Сергеев-Ценский полюбил мир, жизнь – настоящей любовью, с верой в смысл, и... вот, смысла ее еще не нашел и еще видит непереносной, невозможный мрак бессмыслия, «баню с пауками». Что ж с этим делать? Чему же верить? Если все-таки любви своей, – то искать, искать, не боясь пауков, через всех пауков искать этого необходимого «смысла», который должен же быть! А если первому взору поверить, глазам своим, – то уж, конечно, отказаться прежде всего от любви, наполнить душу однообразным, тепловатым отчаянием, лечь под лавку в избе, а пауки тебя будут есть. И пусть едят. В конце концов, – я не спорю, – тут можно дойти до известного бессмысленного сладострастия, а уж до самодовольства средней руки – наверно. Но и человеку, и художнику – обоим – непременно конец.

По склонности моей к пессимизму и еще потому, что Ценского я не считаю очень сильным (ведь Андреев был куда сильнее!), – мне кажется, что и Ценский кончит под лавкой, под которую уже тихо лезет Андреев. Мне кажется, но утверждать это непременно – нет никаких серьезных оснований.

Пока – Сергеев-Ценский держится еще на лезвии ножа, и в какую сторону он скользнет – неизвестно. И он пока остается художником. Его последний рассказ «Лесная топь» (в альманахе «Шиповника») – не хуже, а лучше рассказов его «Сборника». Ярче, откровеннее, выпуклее – обнаженнее. В «Сборнике» есть рассказ «Я верю!», где после всех невероятных, беспощадных ужасов – герой вдруг, ни с того, ни с сего, глядя на своего маленького сына, начинает «верить», что этого сына ужасы мира не коснутся, что и сын будет иной человек, лучше, и жизнь его будет совсем другая, хорошая, и все вокруг будет хорошо. Зачем этот жалкий, бессильный диссонанс? Впрочем, пускай. Он только лишний раз показывает нам, подчеркивает, как тщетна, глупа и фальшива, и даже просто неприемлема для человеческой природы та единственная оставшаяся вера, в которой смеет еще вслух признаться бедный современный человек: вера в будущие поколения. Вера, в которую не верится. Вера, которая не нужна ни на что. Настоящий человек – вопит против нее: с какой стати? Да и черт ли мне в будущих поколениях, если я... А что же я? Я-то сам?

Сергеева-Ценского можно упрекнуть в излишнем нагораживании внешних ужасов. Теряется правдивость от такой неумеренности, от такого скопления в одном месте всех представимых и даже непредставимых гадостей. В «Скоро я умру» – сразу тонут все, кроме хилого, гнилого сына, беспомощно присутствующего при гибели отца, матери и т. д., –

все без остатка. Что делается с Антониной из «Лесной топи» – прямо невероятно. Плетется какая-то цепь из черных, отвратительных звеньев. Придурь, ребенок-урод, любовник-сифилитик, – и уж окончательно без носа, с язвой во все лицо, – страшные, безвыходно тупые люди вокруг, – и, наконец, когда уже ничего, кажется, не остается, кроме смерти, – Ценский и смерть эту посылает Антонине в самом страшном ее образе: артель мужиков в лесу, на которую набрела, заблудившись, Антонина, – тупо, дьявольски стихийно, без слова набрасывается на нее, вся, и, насилуя, тем самым ее убивает.

Рождение, природа, любовь, надежда, жалость, страсть – все Ценский показывает нам исковерканным, все в пятнах Бессмысленного Зла, точно в пятнах проказы. Но неумеренность Ценского в собирании конкретных, внешних ужасов – вполне понятна. Он изо всех сил старается, он непременно хочет свое ощущение ужаса перед Злом передать другим с наибольшей полнотой и невольно огрубляет краски для другого, может быть, еще грубого взора. Конечно, не у всех «все умирают, все с ума сходят». Но Ценский знает, а не знает, так чувствует, что если хоть у одного «все умерли и с ума сошли», – то это совершенно все равно, как если бы у всех; что ни одной «слезинки» нельзя оправдывать, если не оправдана хоть одна. А ведь с какой недомысленной легкостью многие еще примиряются... И хотя бы с землетрясением, где погибло только 66 человек, да зато спаслось 6 666! И Ценский,

неправдиво фактически, грубо, – но с глубочайшей внутренней правдой кричит: «Все, все! У всех всегда все умирают, все с ума сходят! Проклятые люди, проклятый мир! по... по я не хочу, я не могу, чтобы так было. Нельзя, чтобы так было, потому что у человека есть к миру любовь».

Вот это-то живое, – может быть, не вполне сознанное, все равно! – противоречие, это «несомненно проклят» и «несомненно не хочу» отличают Сергеева-Ценского от других современных писателей того же уклона. Того же уклона, – но с антиномией, менее резко поставленной, менее трепетной и подлинной. Может быть, эта трепетность и резкость питают и самый талант Ценского, дают языку его выразительную силу.

До риторики недалеко... но ее еще нет. Недалеко, – иногда кажется, – и до просветления, до начала раскрытия необходимого «смысла» жизни... но и его еще нет. Во всяком случае на своей теперешней точке, в данном своем состоянии Ценский не может остаться навсегда, ни как человек, ни как художник. Это уж было бы последнее бессмыслие, – которого, к счастью, в жизни не встречается. Нельзя стоять далее мгновенья на колющем острие. Мы не знаем, добрался ли уже Ценский до этого окончательного острия. Но когда доберется (и если доберется) – то нельзя ему будет не полететь; и непременно он полетит – или вниз... или вверх.